

РОССИЙСКИЙ ДОНОС И ЕГО МЕТАМОРФОЗЫ

Заметки о поэтике политической коммуникации

Г.А. Орлова

Отечественный донос — это не только уведомление компетентных органов о подозрительных персонах или противозаконных действиях, но и неизменный ресурс влияния обывателя на принятие административных, правовых и политических решений. В условиях хронической депривации публичных форм политического участия донос оставался основой разрешенной политической активности масс. Пропагандируемый и презираемый, он свидетельствует об амбивалентном отношении россиянина к государственной власти и возможностям сотрудничества с ней. За изветом, не сводимым к этической дефективности доносчика, с одной стороны, и агентурной деятельности осведомителей на должности — с другой, различима массовая практика обыденного политического поведения, так наз. “стихийное информирование”.

ЖАЛОВАТЬСЯ ИЛИ ДОНОСИТЬ?

Многообразие форм обращения обывателя во власть может быть описано в рамках континуума жалоба-донос и расположено между сообщением о нарушении личного интереса и апелляцией к общественному или же государственному интересу. А значит, для того чтобы охарактеризовать дискурсивный статус доноса, следует определить его отношение к жалобе. Задача осложняется тем, что граница между жалобой и доносом зачастую остается проницаемой, иллюзорной или вовсе исчезает.

Одним из первых шагов на пути к формальному разграничению жалобы и доноса было учреждение в 1711 г. института фискалов, которые защищали государственный интерес и не должны были принимать участия в частных делах: “Фискалам в челобитчиковы дела ни в какие не вступать, а в неправом решении на судью им, челобитчикам, бить челом самим, а фискалам до сего дела нет” [ПСЗРИ, т. IV, № 2618]. Появление “доносчиков на должности” — основа петровского проекта рационализации государственного контроля, прежде опиравшегося исключительно на стихийное информирование.

Стремление власти разграничить челобитную и извет в коммуникативном опыте обывателя проявилось во введении разных коммуникативных сценариев для жалобы и доноса. Доносить можно было только через фискалов, а жаловаться надлежало чиновникам — от комендантов до генерал-рекётмейстера. Умению соотнести характер информации с выбором жанра уделялось особое внимание. Подмена жалобы доносом по “слову и делу” расценивалась как разновидность ложного извета. За этой распространенной “ошибкой” чаще всего стояло стремление обывателя использовать в своих целях политико-коммуникативный ресурс доноса по государственному преступлению. Для крепостных “слово и дело” вообще оставалось единственным способом быть услышанными властью: “А опричь тех великих дел ни в каких делах таким изветчикам не верить” [ПСЗРИ, т. III, № 13]. Выдавая себя за доносчика, крестьянин получал доступ к желанному взаимодействию с представителями власти.

Преступной считалась не только подмена государственного интереса частным, но и их смешение. Посадский человек Иван Нагибин за челобитную к царю был бит кнутом и сослан в каторжную работу. Писал он одновременно о своей обиде и об интересе Его Величества — “о негодной меди, которая лежит многие годы на монетном дворе, у которой меди утрат Его Величеству интере-

ОРЛОВА Галина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры истории психологии, психологии личности и общей психологии Ростовского госуниверситета.

су многие тысячи” [История 1911: 238]. Размывание грани между профанной частной жизнью и священным государственным интересом встречало решительный отпор власти, хоть и не столь суровый, как недонесение или ложный извет.

Нормативность правил коммуникации вводила россиянина в грамматику социального поведения, где жалоба и донос были разделены, а порядок уведомления властей — жестко регламентирован. Сами же коммуникативные нормы были непоследовательны и переменчивы. Свободное движение доноса по инстанциям то строго запрещалось (указы 1711 и 1714 г.), то Петр предлагал подданным “без всякого сомнения доносить словесно и письменно о нужных и важных делах самому Государю, или, придя ко двору его Царского Величества, объявить караульному сержанту” [ПСЗРИ, т. V, № 2877]. В январе 1721 г. царь разрешил прокурорам принимать доносы не только от фискалов, но и от частных лиц. Но несметное количество доносов парализовало деятельность государственных учреждений, и потому в 1725 г. была восстановлена прежняя норма — “впредь доносчиками мимо фискалов нигде не доносить” [Грибовский 1901: 33]. Похоже, задачей государства в сфере добровольного осведомительства стало поддержание оптимума между дефицитом информации и лавиной доносов, дезорганизующей деятельность властей [см. Голицын 1910].

Следы запрета на прямое обращение доносчика в высшие правительственные инстанции различимы и во второй половине XVIII в. За непосредственный донос в Сенат россиян подвергали телесным наказаниям еще в начале царствования Екатерины II. Это не останавливало нарушителей субординации. Тихвинский купец Говядин был наказан за извет в Сенат на злоупотребления бургомистра Брюшкова и ратмана Королькова. Донос подтвердился, стал основанием для расследования, но купец за коммуникативную ошибку был бит плетьюми [Грибовский 1901: 298]. Обыватели доносили, подстегиваемые одновременно угрозой сурового наказания за недонесение и отсутствием иных инструментов давления на власть.

С первой половины XIX в. в российской правовой практике главным основанием дифференциации жалобы и доноса становится “беспристрастность” доносчика в сочетании с его страстным радением о казенном интересе. Согласно Уставу Уголовного Судопроизводства (ст. 301), жалобой признавалось “объявление о преступлении, наносящем ему (лицу) ущерб или вред” [см. Макалинский 1907: 220]. В случае же доноса “объявитель не имеет никакого участия в деле и оно не нарушает его личных интересов”. Особо подчеркивалось, что “донос — это явное обвинение кого-либо в преступлении” [СЗРИ, т. XV, Зак. Уг., ст. 920]. Донос рассматривался как форма народного (общественного) уголовного преследования, когда “каждый гражданин пользуется правом и несет нравственную обязанность преследовать в общем интересе преступление, не имеющее никакого личного к нему отношения” [Муравьев 1889: 15]. От прочих сценариев информирования его отличало “явное обвинение”. Н.А.Неклюдов, например, проводил грань между “доведением до сведения” (изветом) и “прямым обвинением” (доносом), считая их совершенно самостоятельными формами участия гражданина во власти [Неклюдов 1880: 158].

Сильное политическое действие — обвинение — требовало развернутых доказательств [СЗРИ, т. XVI, ч. 2, Зак. о Судопр., ст. 582]. Обратной стороной дозволенной политической самодеятельности была ответственность обывателя за достоверность информации: “В случае явного обвинения кого-либо в преступлении или проступке, объявитель предупреждается о наказании за ложный донос” [СЗРИ, т. XV, Улож. о Нак., ст. 940].

Вопрос о том, как будет квалифицировано обращение во власть, серьезно влиял на судьбу информатора. Так, в 1874 г. купец Захар Хитаров был освобожден от уголовной ответственности за ложный донос решением кассационной палаты уголовного департамента Правительствующего Сената, признавшей документ, поданный им во Владикавказское городское общественное управление, жалобой, а не доносом. Незадачливый автор сообщал, что скототорговец “Баранов, сам уклоняясь от платежа пошлин за убой скотины, подстре-

кает и других лиц не платить за это деньги” [Решения 1874: № 562]. Сведения не подтвердились. Хитаров был осужден за ложный донос. Но вышестоящая инстанция усмотрела в действиях обвиняемого пристрастность, продиктованную ущемлением личного интереса. Донос превратился в жалобу, а информатор — в невиновного.

В дискурсивных практиках дореволюционной эпохи сложились устойчивые критерии дифференциации жалобы и доноса. Они опирались на сформировавшееся за 200 лет умение соотносить содержание сообщения и используемую коммуникативную стратегию, способность различать частный и государственный интерес, а также уровень достоверности/объективности информации. По ходу этой дифференциации донос оформился в самостоятельную практику политико-правового поведения законопослушного обывателя и активного в своей лояльности подданного, где долг и инициатива гражданина были неразделимы.

КАК И О ЧЕМ?

Регламентировался не только порядок обращения извetchика во власть. Начиная с 1714 г. запись доноса стала обязательной, устные изветы неграмотных подлежали протоколированию. Устойчивые формулы документального жанра структурировали текст и становились важными элементами доноса как сценария политического поведения.

Власть всегда настаивала на обозначении авторства доноса, поскольку анонимность подрывала его идеологическую интерпретацию как действия нравственного и легитимного. Анонимный извет подлежал публичному сожжению через палача, а его сочинитель объявлялся “бесчестным” и подвергался преследованию [ПСЗРИ, т. VI, IX, № 4585, 12319]. Но двойной стандарт по отношению к анонимкам — их официальное отвержение и фактическое использование — прочно входит в российскую практику.

Сведения, составлявшие донос, не следовало афишировать. Правительство неодобрительно относилось даже к публичному изъяснению “слова и дела” [см: Анисимов 1999], но куда более суровый отпор встречали подметные письма. Нашедшему таковое закон предписывал, никому не показывая, объявить о нем властям или же, не распечатывая, сжечь на месте [ПСЗРИ, т. VI, № 4585].

Структура доноса не имела жесткой регламентации и складывалась стихийно, хотя попытки упорядочить форму извета, во всяком случае — отдельные его разновидности, все же предпринимались. В законодательстве второй половины XIX в. наибольшей формализации подверглись доносы о контрабанде. Они должны были содержать информацию о характере и количестве товара, его местонахождении, маршрутах передвижения, хозяине и перевозчиках, а также аргументы, подтверждающие достоверность информации [СЗРИ, т. VI, Уст. Тамож., ст. 1660-1670].

Устойчивыми элементами жанра были отсутствие какого-либо названия документа (он практически никогда не назывался доносом), аргументы и доказательства правдивости сведений, мотивировка действий извetchика, описание происшествя/персоны и их идентификация в системе актуальных политико-правовых координат. Наконец — обозначение адресата и адресанта.

Формулы достоверности эволюционировали от архаичных клятв (“а буде я, Авдотья, сказала что ложно, и за то указал бы Великий Государь казнить меня смертью”) к сообщениям об источнике информации (“это мне на днях пришлось случайно узнать от одного местного жителя” [ГАРО, ф. 826, о.1, ед. 49, л. 31]), перечислению свидетелей (“это смогут свидетельствовать...”) и аргументам, подтверждающим беспристрастность и незаинтересованность доносителя (“не имел с Барышниковым никакой ссоры и до настоящей беседы не был с ним знаком”) [цит. по Семевский 1884].

Политическое кредо автора отражалось в мотивационных формулах и декларациях патриотизма (“я как русскоподданный”), преданности (“как истинный слуга своего государя”, “как пламенный сторонник советского строя”),

христианского долга или нравственной обязанности (“мню, что не стерпит человеческая совесть, ежели кто сущий христианин и не нарушитель присяги в себе заключит, слыша нижеписанные поношения против персоны Его Величества”) [цит. по Семевский 1884: 68]. Нередко импульс к доносу связывался с позицией законопослушного гражданина (“как враг всяких беспорядков, считаю своим долгом сообщить вам...”). Артикулируя свои побуждения, извещик пытался обозначить собственную идентичность.

Конструкты самоидентификации обычно размещались в начале документа — как общая интерпретативная установка, и в его конце — как закономерный итог верноподданнического действия. Кроме того, они могли быть включены в текст в качестве характеристик и оценок (“наслаждается своим незаконным глумлением над строем управления Россией, которому мы подчиняемся с любовью и разумным благоговением” [ГАРО, ф. 826, о.1, ед. 26, л.15]), а порой проступали в подписи. Последнее касается, главным образом, анонимных доносов, где автор предпочитает подменить фамилию социальной идентичностью (“доброжелатель”, “честный сын рабочего класса”).

Смысловой центр доноса — описание девиации. Оно может принимать форму: (а) информирования о событии/ситуации без указания лиц (“со станции пропадают дрова”); (б) характеристики противозаконного/подозрительного действия, дающей основание для идентификации (“лишь только прочтет в газете что-либо от правительства, подчеркивает 20 раз и высмеивает целый день — настолько явный анархист” [ГАРО, ф. 826, о. 1, ед. 26, л. 15]); (в) прямой идентификации агента опасности, которая предшествует комментарию или существует автономно от него (“большие смутьяны и разбойники Луганские”, “темные личности жидовского типа”).

Формулы идентификации нередко содержат указания на чье-либо несоответствие занимаемому положению (“Еще один порочащий Храм Божий факт: дьячок Орлов и компания занялись в последнее время выделкой водки из кишмиша”) [ГАРО, ф. 226, о. 22, ед. 24, л. 1] или соотносят описываемый объект с негативными маркированными социальными группами (“А кто они такие? Три попа и двое — остатки из бывших”) [ГАРО, ф. 4173, о. 3, ед. 15, л. 7]. Используются и актуальные риторические конструкты (“лакированный коммунист”) или диффузные конструкты негативной идентификации (“вообще он неблагонадежный”, “ведет себя подозрительно”). Эталоны идентификации отрицательных персонажей, как правило, соответствуют текущему моменту, что обеспечивает взаимопонимание между доносчиком и властью. В идеальном случае доносчик насыщает конкретным содержанием те образы врага и опасности, которыми оперирует власть.

Донос чутко откликается на изменение “болевых точек” власти. При Анне доносили о неуважительном отношении к императорским указам, о непристойных выходках против официальных бумаг, при Иоанне Антоновиче — о непринятии присяги, позже — о сквернословии в адрес Елизаветы, в екатерининскую эпоху — о разговорах по поводу захвата монастырских земель (1764 г.), при Павле — о беглых солдатах (1798 г.) [Веретенников 1911]. Донос выступал своеобразным индикатором представлений подданных о том, что в настоящий момент важно для власти.

Часть тематических ориентиров была задана буквой закона. Одни из них касались непреходящих интересов власти (государственная безопасность, казенное имущество, охрана порядка), другие — ее злободневных проблем (неявка чиновников на службу в петровскую эпоху, утайка ревизских душ или актуальная для наших дней борьба с терроризмом). Порой власть сама знакомит потенциальных осведомителей с набором актуальных приоритетов. Так, на волне фальсификаций сливочного масла в конце XIX в. добропорядочных граждан просили сообщать о подделках [ГАРО, ф. 46, ед. 3302, л. 24], а при возникновении на Дону в 1826 г. угрозы массового падежа скота местное начальство обратилось к населению с приказом извещать его обо всех случаях заболевания домашних животных и даже подробно разъяснило симптоматику

“конских болезней” [ГАРО, ф. 46, ед. 380, л. 3]. Однако наибольшего размаха “руководство” доносом достигло в советскую эпоху. Уже в середине 1920-х годов добровольным помощникам регулярно раздавались директивы типа: “Следует заострить внимание на вопросах (1) предстоящих выборов Советов; (2) борьбы со спекуляцией; (3) состоянии посевов... Совершенно не поступает свежий материал по одному из важнейших вопросов сегодняшнего дня — о прогулах на производстве” [ГАРО, Ф. Р89, о.1, ед. 31, л. 1].

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ — ЦЕНА ОБЪЕКТИВНОСТИ

У нас... всякий сигнал — даже основанный на фактах — вызывает взрыв возмущений, проклятий... Атмосфера для меня здесь крайне сгустилась — до такой степени, что мне сейчас следует поскорее отсюда убраться...

Из письма в редакцию газеты “Гро”, 1924 г.

Добровольный осведомитель, как правило, норовил перескочить через многочисленные ступеньки административной лестницы и взаимодействовать напрямую с центральной властью. Дееспособности и бескорыстия местных властей не доверяли и, несмотря на угрозу наказания, за правдой обращались в столицу. Нарушать иерархию официальных сношений были вынуждены даже фискалы, поскольку сталкивались с открытым противодействием чиновников на местах. Так, в 1723 г. фискалу Угличской провинции Акинтову местный воевода не давал требуемых копий с указов, не допускал к просмотру дел, не принимал его доношений [История 1911: 20].

Но и в столицах доносчиков не жаловали. Российский сановник, далекий от веберовского эталона бюрократии, имел все основания сторониться извечника и извета. Обер-фискал Нестеров так объяснял свое обращение к императору лично: “Напрямик, государь, по ревности моей за неизреченную вашу государскую собственность... доношу... Сенат сами вступили в сущее похищение казны вашей... каково в них может быть суд правый и охрана ваших интересов?” [Письма 1992: 362]. В условиях масштабной коррупции идеальным, а порой — единственным адресатом доноса оставался император, что нашло отражение в коммуникативных формулах извета: “скажет то государево дело лишь государю самому”, “скажет он то государево слово в Москве кому ты, государь, укажешь”. Однако для рядового доносчика монарх был адресатом практически недоступным. Сенатские и высочайшие указы неоднократно подтверждали запрет на прямое обращение к нему. В тех редких случаях, когда осведомитель все-таки мог обратиться к царю непосредственно, донос формально переставал быть доносом.

Вообще же сочувствие начальства к доносчику оказывалось прямо пропорциональным дистанции между ними. Объективирующий взгляд извечника таил в себе опасность: он превращал воеводу и сенатора, а позднее пристава, инспектора народных училищ или парторга в объекты описания, лишённые контроля над интерпретацией. И могло оказаться, что сенатор ворует, инспектор сочувствует бунтовщикам, а пристав общается с политически неблагонадежными элементами. Неуязвимым, а значит благодарным адресатом доноса был лишь тот, кто оставался невидим в силу географического расстояния или сакрализирующей статусной дистанции.

Согласно букве закона, донос должен был начинать свое движение с низших ступенек бюрократической иерархии. Но именно там он всегда встречал наибольшее сопротивление. Позиция доносчика как активного конкурента представителей власти, выступающего с политической инициативой, ярко проявляется в отечественном доносе с 60 — 70-х годов XIX в. Подданные и граждане все чаще не ограничивались ролью пассивных информаторов и охотно вторгались на территорию самой власти, предлагали администраторам собственный план действий: “Покорнейше прошу Вас, господин хutorской атаман, вызвать мещанина и допросить его обо всем подробно в присутствии полицейского. По-

том допросите сидельца... Если понадобится, допросите еще свидетелей” [ГАРО, ф. 829, о. 1, ед. 99, л. 264]. Обыватели выступали с рекомендациями (“рекомендую и прошу церковный совет быстро разобраться в таком деле”) и даже инструкциями (“следует сделать обыск и вывести на чистую воду”). А самые активные присваивали себе функции политического сыска (“Видя, что я ничем не могу быть полезным престолу и Отечеству, я стал следить за находящимися здесь политическими ссыльными” [цит. по Меньшиков 1932: 152]), (“Чтобы доказать правду своих слов, я брался купить несколько преступных книг у Дзвонковского и пороку у Чудина. Пристав отклонил мое предложение”) [ГАРО, ф. 829, о. 2, ед. 95, л. 71]. Реакция пристава на предложение добровольного помощника — “отклонить” — довольно симптоматична. Власть на местах была не готова к столь бурным проявлениям политической самодеятельности.

Отчуждение, риски, коммуникативный вакуум сплошь и рядом сопутствуют доносчику: “Я скрою свою фамилию настоящую, боюсь понапрасну поплатиться своей шкурою” [ГАРО, ф. 829, о. 1, ед. 138, л. 2] — вот главный и фактически вневременной аргумент в пользу анонимности доноса. Инженер объясняет свой анонимный донос страхом бойкота “со стороны всех высших, низших и равных мне сослуживцев” [Меньшиков 1932: 154-155]. Житель Таганрога так комментирует свое обращение в вышестоящую инстанцию: “Я хотел об этом донести здесь, но он человек богатый. У него бывает и сам пристав полицейский, почему я и боялся сказать. Прошу и Ваше Превосходительство не выдавать меня, а то они меня заедят” [ГАРО, ф. 829, о. 2, ед. 163, л. 115]. В советское время рабкор жалуется в “Правду” на равнодушное отношение ростовского “Молота” к рабкоровским заметкам, а борец с взяточниками сетует на то, что столичные власти оставили его на произвол местных администраторов, против которых он выступал [ГАРО, ф. 4173, о. 4, ед. 5, л. 20].

Доносчик, руководствуясь абстрактным государственным интересом, действует на стороне обобщенно понимаемой власти. На деле он сталкивается с конкретными людьми — порой пристрастными, порой нерадивыми. Фиаско, которое он терпит, обнажает дефекты политической фокусировки в российских условиях. В какую бы инстанцию ни был направлен донос, имплицитно он всегда адресован главе государства. Любовь царя к “ябедникам” постоянна, но и она не может гарантировать доносчику полной безопасности. Так, на фоне массовых убийств рабселькоров Сталин неоднократно поднимал вопрос об отношении на местах к тем, кто приходит на помощь советской власти: “Некоторые товарищи отворачиваются от рабкора, не подают ему руки, дают понять, что он ‘чуждый элемент’... Вы должны знать, что рабочие иногда побаиваются сказать правду о недостатках нашей работы. Побоятся не только потому, что им может влететь за это, но и потому, что их могут ‘засмеять’ за несправедливую критику” [Сталин 1949а: 33]. Эти два сценария негативной коммуникации — “влетит” и “засмеют” — отражают инородность извечника местному начальству и собственному социальному окружению.

Доносчик вынужден строить и строит свою идентичность на основе несоответствия с властью, а не с ближайшим окружением. Он становится чужаком в своем кругу, а его донос, рационально и идеологически обоснованный, включенный в систему бюрократических координат, разрывает традиционную коммуникацию. Полное беспристрастие доносчика к родственным и дружеским связям свидетельствует, по мнению большинства интерпретаторов, о его нравственной деградации. Прогосударственная позиция извечника вызывает недоверие и неизменно реинтерпретируется в терминах личной заинтересованности. “Жены доносили на мужей, которых не любили и от которых терпели побои и издевательства. Мужья сообщали о ‘непристойных словах’ своих неверных жен... Причины доносов были самые разные, но все эти доносы были одинаково далеки от защиты государственной безопасности: распри из-за имущества, вражда, жадность, особенно — зависть” [Анисимов 1999: 194].

Российские сценарии принудительной модернизации, разрушительные по отношению к традиции и институту родства, зачастую не позволяют быть бе-

зупречным гражданином и семьянином одновременно. Так было в XVIII в. Так же обстояло дело в эпоху советской социализации, критическим эпизодом которой стал активно пропагандируемый детский донос. “Юные дозорники”, разоблачавшие собственных отцов, объявлялись героями, равными челюскинцам. Девальвация кровнородственных связей позволяла пересмотреть базовые модели идентификации и создавала материал для антропологической формовки, нацеленной на “изготовление” нового человека. Место семьи занимала “большая семья”, пересматривалась сама идея родства: родство по крови заменялось родством идеологическим: “Эти... эти бумажки... мой отец продает сосланным кулакам... Дымов несколько секунд удивленно смотрит на мальчика, потом обнимает его, мокрого и дрожащего, целует. И Павел прижимается к большой груди этого человека, совсем мало знакомого, но такого родного и близкого” [Губарев 1951: 33]. Инверсия семейственности используется здесь для адаптации идентичности извечника к традиционной системе координат. А для государства отчуждение от кровнородственных связей становится залогом объективности и бескорыстия доносчика.

ДОНОСА НЕТ: СОВЕТСКИЙ ДОНОС

...Чтобы всякий гражданин знал, что донос в суд это не есть донос, это есть его долг. Если вы хотите воспитать эту добродетель, если вы хотите воспитать то чувство доверия, о котором я говорил, то развивайте способность доноса...

Н.Рязанов. Комментарий к ст. 177 УК РСФСР, 1924 г.

В начале советской эпохи формальное разделение жалобы и доноса сохранялось и по инерции опиралось на дореволюционные критерии юридической классификации: “Как открытое обращение к власти заинтересованного лица, жалоба принципиально отличается от доноса, который может делаться и делается обычно в тайне и может исходить от лица, к делу совершенно постороннего” [Загряцков 1925: 82]. Фактически же это старорежимное разграничение постепенно превращалось в фикцию, чему способствовало бурное развитие такого коммуникативного жанра, как “заявление”, — универсалии, весьма характерной для советского дискурса. “Заявления, — писал в середине 1920-х годов один из теоретиков советского права, — могут подаваться не только потерпевшими, но и лицами и учреждениями, не понесшими ущерба” [Загряцков 1925: 98]. Со временем это положение стало юридической аксиомой и вошло в “сталинскую” энциклопедию. К тому же в условиях, когда сфера частного существования все больше подвергалась обобществлению, а общественная забота была объявлена “личным делом каждого”, традиционное основание жалобы — частный интерес — стремительно теряло смысл. По мере того как “верноподданный обыватель” превращался в “советского гражданина”, жалоба трансформировалась в критическое письмо, а ее ядро — частный интерес подменялся общественным.

Одним из наиболее эффективных средств изживания присущих жалобе мотивов в обращениях трудящихся было овладение злободневными риториками, позволяющими поместить частное содержание в политический контекст эпохи. Журнал “Большевистская печать” в 1934 г. отмечает рост политической сознательности селькоров, которая при ближайшем рассмотрении оказывается переходом к риторически насыщенному описанию: “Сейчас колхозники, главным образом, пишут по вопросам колхозного хозяйства, а не по своим личным вопросам, как это имело место в прошлом году... Вот к примеру, селькоровка Одоевской районной газеты Чернышева Матрена. Сперва она написала о том, что председатель ее колхоза поехал в город на колхозных лошадях за вином. Теперь она уже пишет о том, что в колхозе орудует классовый враг, о том, что он ‘тихой сапой’ разрушает колхоз и т.д. Она пишет, что классовый враг основной упор делает на коня, и что лошади обезличены” [Большевистская печать 1934: 17]. По той же схеме оцениваются динамика и качество жалоб, по-

ступивших, например, в Кунгурский горком партии: “Количество жалоб... значительно увеличилось... Изменился и характер жалоб.... Если раньше больше было по квартирным вопросам, то теперь больше сигнализируют о не порядках на предприятиях и в учреждениях” [цит. по Киммерлинг б.г.].

Эталоном политико-эпистолярной деятельности советского человека в его взаимодействии с властью становится письмо в газету — своеобразный гибрид публичного доноса и жалобы. Партийную позицию по этому вопросу выразил на II Всесоюзном совещании рабселькоров М.И.Калинин: “Письмо в газету... уже не есть частное письмо, частная жалоба, а документ: *автор своим письмом стремится произвести политическое действие*, он обращает внимание общества на известное ему зло, выявляет его причины, часто предлагая и соответствующие средства исцеления зла” [Большевистская печать 1940: 138].

Политический смысл такому письму придает не только его содержание, но и особое коммуникативное пространство, куда помещается информация. Келейное взаимодействие извечника и власти исчезает, донос становится публичным. Но отечественный контекст парадоксален: лишившись одного из своих базовых качеств — приватности, публичный донос умудрился сохранить тайну авторства. Имена самых отчаянных рабселькоров скрывались за псевдонимами. Их инкогнито охранял советский закон. Приводимая ниже выписка из циркуляра Верховного Суда РСФСР, помещенная на оборотной стороне типового бланка армянской газеты “Гро”, выходящей в 1920-е годы на Северном Кавказе, служила постоянным напоминанием об этом: “Разглашение должностными лицами имен корреспондентов и равно содержания их заметок, передаваемых ими для расследования, является наравне с разглашением не подлежащих оглашению данных дознания и следствия или сведений, не подлежащих оглашению, уголовно наказуемым преступлением; виноватые привлекаются к ответственности по ст. 121 УК” [ГАРО, ф. 1474, о. 1, ед. 142, л. 13].

Публичный донос был адресован массовому читателю как назидательный пример и образец для подражания, свидетельство участия народа в управлении страной. Но при этом он сохранял свою главную, традиционную функцию — информировал власть о противозаконном или опасном действии и оставался для правоохранительных органов поводом к разбирательству: “Все заметки разоблачительного характера рассматриваются, вырезаются и поступают в производство прокуратуры, причем расследование части заметок происходит через компетентные органы” [Рабселькор 1928, № 3].

“Письма трудящихся” в газету последовательно отождествлялись с “сигналами” и трактовались как форма участия народных масс во власти, механизм преобразования реальности [см. Бекасов 1948]. Советский дискурс утверждал равнозначность обнаружения недостатков их устранению на уровне *целей* (“самокритика имеет своей целью вскрытие и ликвидацию наших ошибок, наших слабостей” [Сталин 1949 б: 127]); *метода* (“самокритика — надежное и верное орудие в руках рабочего класса и партии для устранения, преодоления и предотвращения ошибок, искривлений классовой линии, элементов разложения и прямого загнивания” [Известия 1929]); *практики* (“очистительный огонь самокритики поможет нам выжечь остатки старого, тормозящие социалистическое строительство” [Правда 16.05.1928]). Вера в целебность/действенность артикуляции и осознания коллективным субъектом собственных проблем сближала процедуру самокритики то ли с техникой психоанализа, то ли с исповедью. Сходство самокритики и христианского покаяния осознавалось и в рамках советской культуры. Пример тому — карикатура Е.Гурова “Исповедь” и подпись к ней: “А еще, батюшка, пропустила я комсомольское собрание, и взносы у меня за 2 месяца не уплачены” [Крокодил 1958: 17].

Тезис о равнозначности указания на недостатки их искоренению позволял рассматривать такие “сигналы” как полноценное политическое действие. Именно поэтому деятельность критиков-осведомителей была приравнена к участию масс в управлении государством: “Если рабочие используют возможность открыто и прямо критиковать недостатки в работе, улучшать нашу ра-

боту и двигать ее вперед, то что это значит? Это значит, что рабочие становятся активными участниками в деле управления страной” [Сталин 1949а: 33].

Но критика зачастую воспринималась в обиходе как ябедничество, т.е., по сути дела, *извет*. Поэтому официальная пропаганда всячески пыталась доказать тождественность “критики” и “самокритики”. Главная газета страны разъясняла советскому человеку: “Критика или самокритика в нашем понимании это одно и то же, но самокритикой мы ее называем потому, что рабочий класс сам себя критикует, критикует свое государство, свои органы, свое строительство” [Правда 26.06.1928]. В разряд самокритики попадали такие формы политической активности, как критика рабкором дирекции завода, обличение партийцем “хвостизма” ячейки или “сигналы с мест” бдительных комсомольцев. Противопоставление в процессе критико-разоблачительной деятельности “себя” и “другого” было снято при помощи диалектической операции — объединения их в коллективном субъекте. В этой системе координат донос был уже невозможен. И рабкоры, сохраняющие свое имя в тайне, и товарищи, пишущие в органы, доносчиками не являлись, как не было доносом любого рода информирование о “наших неполадках” и “их враждебных происках”. Политический язык советской эпохи освободил осведомителей от клейма “доносчик”. Для того чтобы воплотить в жизнь давнюю мечту российской власти о позитивном образе доносчика — помощника государства и активного гражданина своей страны — потребовалось “бегство” из имени собственного.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭВФЕМИЗМ

“Я — идейный борец со Злом, а не какой-нибудь ‘сотрудник’, как в Вашем ведомстве именуют платных осведомителей. И если я согласился писать Вам эти письма (не смейте называть их ‘донесениями!’), то вовсе не из страха быть сосланным за свои прежние политические воззрения (чем Вы мне в свое время угрожали), а единственно оттого, что осознал всю пагубность духовного нигилизма и устрасился...”

Б.Акунин

Из 815 доносов (1776 — 1960 гг.), обнаруженных мною в фондах Государственного архива Ростовской области, лишь 31 значится как донос, остальные не озаглавлены или названы как-то иначе. За очевидным стремлением осведомителя выскользнуть из жанра маячит желание избежать негативной идентификации. Уже в XIX в. доносы скрывались под личиной прошений, писем, заявлений, жалоб, а в советское время, как мы видели, к ним добавились письма в газету, заметки и сигналы граждан.

Жалоба. Выдавая жалобу за донос, россиянин стремился повысить эффективность расследования своего дела, изменить статус проблемы или получить возможность выйти на центральную власть. Подавая же донос под видом жалобы, он ориентировался на оценку своих действий со стороны общества. Опосредование действий информатора формулами и риторическими клише жалобы было поставлено на поток уже во второй половине XIX в., когда давление общественного мнения на доносчика начало составлять серьезную конкуренцию официальной идеологии *извета*. “Прошу вас, будьте как отец родной. Мы к вам с жалобой, этот бунт начинается не от студентов и не от каких лиц, а больше смутьяны Луганские и Каменобродские старые служаки... Они недовольны на Государя Николая Александровича, а также на покойника Александра Александровича. Дескать, как отец их, покойник, Александр Николаевич, Александр Александрович от водки и умер, а этот Государь способен только девок родить...” [ГАРО, ф. 826, о. 1, ед. 75, л. 5].

Доверительно информировать власть и не быть при этом доносчиком — так можно обозначить цель “приватизации” риторики жалобы. Имитируя стилистически близкий доносу, но не тождественный ему тип социального поведе-

ния, автор стремился снять конфликтное противоречие между верноподданническим долгом и правилами общежития.

Прошение. Назвать донос прошением при отсутствии выраженного частного интереса — типичный жест доносчика конца XIX — начала XX в. Так, обращаясь с “прошением” в жандармское управление, крестьянин Иван Родионов Шпитальный сообщает о революционных проповедях поселянина Иосифа Запорина, который “пригласил в село агитаторов... устроил им овацию... сделал для них сбор и приготовил для них великолепный обед, так как они наши освободители от ига правительства” [ГАРО, ф. 829, о. 1, ед. 99, л. 177]. В данном случае уведомление властей о революционной активности, отсутствие просительного пункта и активная социальная позиция автора — “истинный русский патриот” — резко противоречат устойчивым кодам прошения. Несоответствие формы письма его содержанию становится особенно очевидным, когда доносчик пытается жестко следовать установленным правилам оформления подобного документа: “Прошение. Прошу Вас, Ваше Высокоблагородие принять мое прошение, которое состоит в следующем: приходской священник нашего хутора отец Петр Швытковский занимается подрывом правительственного порядка и закона” [ГАРО, ф. 829, о. 1, ед. 99, л. 131]. Иногда все же доносчику удается более тонко сформулировать пресловутый “просительный” пункт. “Прошение. 11 ноября был я в числе других приглашен в гости в дом Федора Иванова Федосьева, куда после пришел казак Яков Крюков. Последний, не знаю с какого повода, стал выражать с дерзостью слова против Правительства. Мол, де правительство все перевернет и сотрет. Такое выражение считаю вредным и поэтому довожу до сведения вашего благородия и покорнейше прошу провести дознание” [ГАРО, ф. 829, о. 1, ед. 99, л. 25].

Письмо. Донос, поданный в виде письма, помещает и информацию, и самого осведомителя в контекст партикулярного взаимодействия с государством: “Министру Внутренних дел. Осмелюсь беспокоить особу Вашего Превосходительства моим частным письмом, а не заявлением или просьбой, т.к. я думал и искал, к кому бы мне обратиться с нужным, кто был бы верным хранителем моей тайны. Здесь и подумать нельзя, кому бы можно открыть оную... Пылаю душой спасти царя от злоумышленников коварных” [Меньшиков 1932: 146]. “Частное письмо” должностному лицу — это доверительное обращение обывателя к самой власти, сочетающее в себе стремление к конфиденциальности с ощущением неадекватности собственной коммуникативной позиции формальным кодам информирования. Использование эпистолярных стратегий направлено на преодоление отчуждения доносчика от власти, призвано подчеркнуть интимность политического взаимодействия.

Заявление — родовое название официальных обращений граждан в органы власти во второй половине XIX — XX в. Заявление может сочетать в себе элементы самых разных жанров. Дискурсивный минимализм делает его особо привлекательным для изветных целей и позволяет перенести акцент с довольно скользкой для доносчика проблемы мотивации информирования на само происшествие: “Заявление. Заявляю Вашему благородию, что я пришел в земский приемный покой за помощью и просил фельдшера Ефрема Филатова заменить порошки другими, так как первые мне не помогают. Он же накричал на меня. Я ему сказал, что ты Богу не веруешь и царю не повинешься. Он же мне ответил: какая была шишка: Царь — указал себе на половую часть и добавил: нонча он, а завтра я на месте его. Я обиделся на все это и ушел без лекарств из покоя” [ГАРО, ф. 829, о. 1, ед. 138, л. 84].

В советскую эпоху заявление становится, пожалуй, самой распространенной формой “восходящего” документа. Его универсальный характер оставлял полный простор для изветного содержания. При этом особое значение получало умение связать собственную проблему с интересами и приоритетами со-

ветского государства. Скажем, заявляя в Ростовский облисполком о своем незаконном увольнении, бывшая служительница церкви гражданка А.Ш. очень тонко сочетает коды жалобы и извета. На проблему, относящуюся к сфере трудового права, она предлагает взглянуть сквозь политическую линзу “издевательства попов над честным работником”: “То, что церковь отделена от государства, это я прекрасно знаю. Но я обращаюсь с просьбой, с заявлением к нашим руководителям... так как мое дело в отдельных его пунктах не только допускает, но, по-моему, обязывает вмешаться нашим руководителям и навести порядок там, где церковные деятели разводят беззаконие, грязь, обман и издевательства над честным работником. Где же, как не у советских руководителей, искать защиту трудящихся от нападков и издевательств попов?” [ГАРО, ф. 4173, о. 3, ед. 15, л. 1]. Личные недруги женщины, потерявшей работу, описываются ею как враждебные политические агенты. Нейтральные с точки зрения классовой борьбы эпизоды (мордобой, срыв церковной службы, etc.) получают политическую окраску. Сообщение о происшествиях оказывается не столько просьбой потерпевшей, сколько своевременным информированием советской власти об истинном положении дел в лагере классового врага. Выводя на чистую воду пособника из “органов” (“кроме того, попам в этом деле помогал нечестный работник МГБ из-за своего личного интереса”) и разоблачая потерявшего классовую бдительность уполномоченного Исполкома по делам религии (“тов. Байков невольно помог церковному совету, толком не разобравшись в сути дела”), автор, жалуясь, доносит.

Прибегнув к формату заявления, доносчик не только ускользает от четкой маркировки осведомительных действий, но и гибко использует дискурсивный потенциал жанров-доноров для модификации и интонирования своей коммуникативной и социальной позиции.

Негативно воспринимаемые массовым сознанием слова “осведомлять”, “доносить”, “изветничать” заменяются в советскую эпоху эвфемизмами: “сигнализировать”, “критиковать”, “разоблачать”. Причем каждому из этих действий была присуща своя собственная модальность.

“Сигнал” в советском политическом дискурсе становится устойчивым положительным субститутом доноса и интерпретируется как “предупреждение, предостережение от чего-либо нежелательного, сообщение о чем-либо, требующем вмешательства” [Ильенко, Максимова 1958: 261-300]. Среди перечисленных выше стратегий “сигнал” — структурно самый простой вид публичного доноса. В нем нет ничего, кроме информации: “Есть слух, что названный офицер Коля, ‘хозяин’ коммуны, поколотил батрачку Елену Герасимову, шестидесятилетнюю старуху за то, что та ворошит амбар, куда они спрятали хлеб и картофель нынешнего урожая”. [Слово коммуниста 23.10.18].

“Критическое письмо” структурно сложнее. Помимо информирования оно предполагает оценку ситуации, соотнесение ее с актуальными идеологическими образцами, а зачастую — и инициативу. Значима здесь не только информация, но и активная позиция автора. Исходящая от него критика расценивается как политическое действие, направленное на “устранение имеющихся фактов извращений в работе отдельных звеньев аппарата, хозяйственных и других организаций” [Логинов 1953: 5]. Делая негативные явления доступными восприятию, критический наблюдатель объективирует теневые стороны советской действительности, позволяя “уловить ‘хвостик’ антисоветской, вредительской работы чуждых нам сил” [Правда 16.05.28]. Кроме того, риторика “критического письма” подтверждает адекватность языка власти и достоверность предложенных ею версий политической реальности.

“Заметки-разоблачения” представляют собой самый беллетризованный вариант замаскированного публичного доноса. Они всегда пользовались у населения особой популярностью: “С большим интересом отнеслись все читатели к вопросу о разоблачительных статьях. Они прямо говорят, что это самое важное в газете. Это говорят и крестьяне, и рабочие” [Правда 21.11.1923]. Интри-

га разоблачения обычно состоит в обнаружении чужаков в своем окружении, раскрытии подлинного лица “носителя зла”. Рассказы о метаморфозах социальной идентичности организованы либо диахронически — как идеологическая критика биографии (захватывающие повествования о маскировке “злых белых” или о фарсе с переодеванием людей из “бывших”), либо синхронически — как сопоставление личности разоблачаемого с известными разоблачителю типами: “Что такое конторщик? В вашем воображении немедленно возникает существо скромное и тихое... Конторщик Михеев не таков: он подвижен, легок, кипуч, говорит сладенькой скороговоркой прасола, и было бы неудивительно, если бы он одевался как просол — в сапогах, в вышитой рубашке, спускающейся ниже пиджака, в картузе из синего сукна, порыжевшего по краям... Сколько не беседуй с ним, сколько не лови и не пытай, действительное занятие его остается для вас тайной, если вы не торговец с Сухаревки, не мелкий спекулянт по мучной части... Только от соседей не смог он укрыться” [Правда 28.06.1929].

* * *

Вплоть до конца XVIII столетия слова “донос”, “извет” не вызывали никакого отторжения ни у официальных лиц, ни у самих информаторов, однако уже в XIX в. возникает асимметрия: в политико-юридическом и публицистическом дискурсах донос маркируется без экивоков, тогда как его авторы все чаще стремятся избежать прямого наименования. В советскую эпоху и власть, и изветчики отказываются от этого этически неудобного слова: в политико-правовом пространстве донос сохраняется исключительно в качестве продукта злостной дезинформации. Эпитет “заведомо ложный” становится обязательным атрибутом слова “донос” во всех советских справочниках, указателях, кодексах. Если чьи-либо действия и назывались доносом, то лишь затем, чтобы обнажить их клеветнический характер. Других значений в официальном дискурсе у этого термина не было. Советские люди не доносили — они “сигнализировали”, писали заявления и заметки, “критиковали снизу”. Граждане Страны Советов проявляли “сознательность” и “классовую бдительность”, активность и солидарность с властью. Постоянное умножение имен переводило донос в мифологический регистр и позволяло радикально реконструировать изветную практику. Теперь это было не только легитимное, но и героическое действие.

За идеологическим лукавством таких переименований маячили бессилие власти, ее неспособность изменить негативное восприятие доноса и доносчика массовым сознанием. Не претерпело оно сколько-нибудь значимых изменений и сегодня. Вот лишь некоторые высказывания о доносе, наугад взятые мною из русскоязычного Интернета: “Донос — вещь трусливая... это идет от Иуды”, “донос, по-моему, всегда мерзость”, “к доносам отношусь отрицательно”, “доносы аморальны по сути”, “в России возникла угроза легализации доноса”.... Радикальному сомнению подвергаются главные условия “добродетельного” извета: уверенность в благих намерениях власти и бескорыстии “доброжелателя”, его личной незаинтересованности. Это существенным образом отличает отечественную практику добровольного информирования от ее аналогов в других странах Старого и Нового Света.

- Анисимов Е. 1999. *Дыба и кнут*. М.
 Бекасов Д.Г. 1948. *Работа редакции газет с письмами трудящихся*. М.
Большевицкая печать. 1934. № 2-3.
Большевицкая печать: сборник материалов. 1940. М.
 Веретенников В.И. 1911. *Из истории тайной канцелярии. 1731 — 1762*. Харьков.
Государственный архив Ростовской области: Ф. 46, 826, 829, 1474, 4173, Р89.
 Голицын П.1910. *Первый век Сената*. СПб.
 Грибовский В.М. 1901. *Высший суд и надзор в первую половину царствования императрицы Екатерины II*. СПб.
 Губарев В. 1951. *Пионерские повести*. М.
 Загряцков М.Д. 1925. *Административная юстиция и право жалобы*. М.

- Известия Северо-Кавказского крайкома ВКП(б)*. 1929. № 20.
- Ильенко С.Г., Максимова М.Л. 1958. К истории общественно-политической лексики советского периода. — *Ученые записки ЛГПИ им. Герцена*. Т. 165. Л.
- История Правительствующего Сената за 200 лет*. 1911. СПб.
- Киммерлинг А. “Право на донос” в позднесталинскую эпоху. — www.kennan.yar.ru/materials.
- Крокодил*. 1958. № 4.
- Логинов Н. 1953. *Работа редакции газеты с письмами трудящихся*. М.
- Макалинский П.В. 1907. *Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах*. СПб.
- Меньшиков Л.П. 1932. *Охранка и революция*. М.
- Муравьев Н.В. 1889. *Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности*. Т. 1. М.
- Неклюдов Н.А. 1880. *Руководство к особой части русского уголовного права*. Т. 4. СПб.
- Письма и бумаги императора Петра I*. 1992. Т. 13. М.
- Правда*. 1923, 1928, 1929.
- Полное собрание законов Российской Империи*. 1830. СПб.
- Рабселькор*. 1928.
- Решения уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената за 1874 г.* 1874. СПб.
- Свод законов Российской Империи*. 1912. СПб.
- Семевский М.И. 1884. *Слово и дело (1700 — 1725)*. СПб.
- Сталин И.В. 1949а. О работах апрельского объединенного пленума ЦК и ЦКК. — *Собрание сочинений*. Т. 11. М.
- Сталин И.В. 1949 б. Против опошления лозунга самокритики. — *Собрание сочинений*. Т. 11. М.

Статья подготовлена в рамках проекта, осуществленного при поддержке Программы “Межрегиональные исследования в общественных науках”, Института перспективных российских исследований им. Кеннона (США), Министерства образования РФ за счет средств, предоставленных Корпорацией Кеннеди в Нью-Йорке (США), Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (США) и Институтом “Открытое общество” (фонд Сороса), грант №044-1-01.